

РАССКАЗЫ

ГОРШЕЧНИК И ГЛИНА

Позади, этапом пройденным и близким воспоминанием, остались: и розы из долины Саарона, любимые, и сааронские же пунцовые лилии, что странным образом растут только рядом с терновыми кустами, и маслиничные деревья, и апельсиновые сады вдоль дороги, огороженные от сорванцов колючими кактусами, и весь скорбный путь, Виа Долороса, все двенадцать станций, по которым шел Сын Человеческий на Голгофу — от цитадели Антония, где проживал Пилат и где свершилось судилище, до обнаженного холма, лысого и безжизненного, точно череп мертвеца... О, как это было величественно! Особенно в жутком промежутке между второй станцией, где Иисус поднял крест и понес, и третьей, где Иисус изнемог под тяжестью, рядом с грандиозной римской триумфальной аркой, у которой всадник Пилат указал на осужденного «сына божьего» и сказал: «Се человек!» Ах, как они смеялись, весь базарный люд, эти сапожники с красными башмаками на шестах, и горшечники со своими кружалами, вся улица хлебопеков, где булочники замешивали тесто для второй смены, тогда как первая еще томила в печах... А этот блистательный монолог! «Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к гибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе...» Так на фоне тридцати четырех башен крепостных стен Иерусалима говорил актер — как актер, но это было именно так, как требовал режиссер.

Спектакль благополучно скатывался к трагическому финалу. Все сценические действия и акты, кажется, удачно перемахнули через барьер театральной рампы в зрительный зал.

Кстати задаться вопросом: что такое провинциальный театр? Ответ кокетливо лежит на поверхности: это провинциальный театр, не более того. Вечно блуждающие звезды: резонеры, первые любовники, благородные отцы, инженеру и еще какие-то инженеру-комик... Всё — как везде. Резонеры играют резонеров, то есть людей, которые очень любят рассуждать, но ничего не делают, потому что не хотят по причине неумения. А благородные отцы всегда играют отцов, хотя и не обязательно благородных. И все сходит с рук. А что тут такого? Ничего необычного. Иногородние гастроли — утопия. А дома и сцены помогают. Хотя в зале от скуки зевают не только люди, но даже двери и форточки... По клавишам разбитого «Бехштейна», национализированного в пользу трудового народа в 1918 году, неумело и не очень трезво ковыляет мелодия...

Такое возможно в любом провинциальном театре. В нашем — нет!

Новая эпоха. Новые драматурги. Новый режиссер. Новые актеры. Хотя, по правде говоря, и не было ничего особенно нового в том, что изо дня в день долбил главреж:

— Если в зрительный зал придет хоть один человек, значит, мир еще можно спасти от глобальной катастрофы, и поэтому наше лицедейство стоит свеч, ребята. Правда, при всем при этом важно и очень, очень желательно было бы знать достоверно: кто он такой этот самый один?

Главрежа называли: гений. Главрежа называли: тиран. А он отмалчивался от характеристик.

Этого человека, казалось, пронзал стальной вертикальный стержень, распятие изнутри: перестав играть на сцене, он тотчас прекратил бы верить всему тому, что происходит в жизни. В этом маленьком, хрупком, лысеющем человеке пряталось нечто, трудно поддающееся определению. Вроде моцартианства, припудренного веселым безумием...

Но однажды, на юбилейном капустнике, его посадили в золотое бутафорское кресло и водрузили на голову корону. И тогда труппа определилась: в этом артисте — лысеющем, хрупком и маленьком — безвыходно накопилось величие и слабость всех шекспировских королей. Такое, впрочем, бывает не только у личностей. Слабость всех империй как раз и заключалась в их величии.

На центральную роль главреж двинул Гришаню. Тот был лучшим на курсе театрального училища, да и в труппе был самым заметным, так и не утомившим первичный голод лицедейства. Его любили — без разговоров.

— Ты обязан знать, за что судили Христа, — сказал Гришане главреж. — Не за инаковерие, как думаешь ты, нет. Его судили за подстрекательство к мятежу, к изменению существующего строя, то есть за государственное преступление, а это уже статья уголовная. Но вот, Гришаня, вопрос странный: как судили? И кто судил? Не светская власть. Не император Тиберий и не наместник Пилат. Кто же? Закон Моисея. Их же закон, иудейский, закон древней жестокости, но все же закон, согласно которому преступник должен был умереть. И опять неувязочка: если бы пунктуально следовали закону Моисея, то надо было бы Христа забросать камнями, как того требовал закон. Но Христа, осужденного по иудейскому закону, казнили римской казнью, назначенной для рабов, на кресте распяли, потому что меч был бы слишком высокой честью. Вот задачка, уравнение неравенств: суеверие-закон, знание-вера. Крест как скрещенье координатных осей. Или ветряная мельница?.. Ты понимаешь, о чем я толкую?

Гришаня кивнул.

— Не ври, Гришаня, — сказал главреж. — Ты еще не понимаешь. Ты чертовски талантливый актер, Гришаня, но, извини меня, еще не понимаешь этой свечи для игры, а нам без нее нельзя, нам надо сплясать, Гришаня, от свечки к свечке...

Гришаня молчал и не смотрел на главрежа. Он боялся, он не хотел проговориться глазами: если игра стоит свеч, то сколько стоит свеча для игры?

— А свеча не маяк, — продолжал главреж. — Маяк-то, Гришаня, чем ценен? Тем, что светит — и никаких гвоздей, всепогодное светопредставление, всем без исключения, чайным клиперам, крейсерам и шаландам с кефалью и без. Не то что

некоторые... свечи, которые помигают, поморгают, а потом в отпуск пойдут, или спать, или замуж, или на минуточку, за угол, да там, за углом, и закончат свое просветительство мотыльковое...

Однажды, еще задолго до премьеры, сидели в мастерской театрального художника. Тот был обязан к сроку представить эскизы оформления спектакля, задать работу плотникам-столярам, костюмерам, работникам сцены, пошивочному цеху — и вот, не управился: выпал в осадок, говорили, запил горькую, говорили, заквасил по-черному. Пришли не инспектировать, упаси бог, не наставлять уму-разуму, пришли помочь, вытащить из загула. А у него — отходняк, величавей и яростней почина. Лицо как сажа берлинская. Глаза — ультрамарин. Полосы поперек — вроде бы и не тельняшечка на нем, а мензурка с делениями, а в мензурке он сидит, собственной персоной, заспиртованный. «Ну, нате! — орал. — Если у тебя должность такая, чтобы без ножа резать! Так давай тогда! Режь, главреж, по живому, по еще чуть тепленькому! Режь, главреж, правду-матку! Только не ври мне своим трезвым ртом, что мы новым искусством ветхий режим режем с божьей помощью! Хрена! У нас, главреж, нормальный режим: как напьемся, так лежим...» Лицо белое. Глаза красные. Тельняшечка неизменная, полосатая. Художник, вылитый в атакующего морпеха. На полу, среди ломаных грифелей и углей, лежали в беспорядке куски картона с вариантами одного и того же рисунка: деревянный крест, на кресте человек, на груди которого — другой крест, нательный, а на том, нательном, тоже распятый человек, и на распятом опять крест, а на кресте — человек на кресте, и снова крест на человеке... «Что это? — вздрогнул главреж. — В бесконечность тянешь? В туннель? С микроскопом будешь работать? Не надо. Не углубляйся. Поворачивай назад, в обратную сторону. Из микро в макро. Но без телескопа. Оставь человека ростом в метр семьдесят. Большого от тебя не требуется. Гадость не пей. Вот деньги на опохмельный коньяк. Завтра жду в театре». На следующий день морпех вылился из художника и художник явился в театр с повинной.

...И грянул финал.

Небо еще оставалось всего лишь понятием верха и высоты, но земля уже была суха и печальна.

Последний звук продолжился оглушительной тишиной. Но то не ангел пролетел и не прокурор родился. В оглушительной тишине рождаются триумфы, а уж потом, после, рано или поздно к ним пристают аплодисменты, как репетиция пощечин, и пощечины, как репетиция аплодисментов.

И пошел занавес.

Девятнадцать минут (засекли по часам) бушевал, стоя, зрительный зал.

Никто не приказывал, не приглашал, не зазывал друг друга в одну, самую поместительную, грим-уборную. Но именно туда устремились триумфаторы, не сняв грим, парики и сценические костюмы: всадник Пилат и апостолы, и сапожники с красными башмаками, и горшечники с кувшинами, и хлебопеки с пресными лепешками, и римские воины с короткими мечами и длинными пиками, и те галилейские женщины, эти милые провинциалочки с задворок великой империи — Мария Клеопа, Мария из Магдалы, Саломея, Иоанна... — они не покинули, в отличие от верных учеников, место казни учителя. Здесь же крутились электрики-